

Николай Александрович Бестужев

Русский в Париже 1814 года



Николай Бестужев

Русский в Париже 1814 года

«Public Domain»

1860

Бестужев Н. А.

Русский в Париже 1814 года / Н. А. Бестужев — «Public Domain», 1860

«Громадный Париж со своими предместьями уже был охвачен союзными войсками от впадения Марны в Сену и опять до Сены при Пасси. Перемирие было заключено; громы сражения умолкли на левом фланге: высоты Бельвиля, Менильмонтана и Монлуи, занятые союзниками и уставленные пушками, грозили разрушением столице Франции; войска, их защищавшие, начали уже отступление, – но еще битва кипела по другую сторону канала д'Урк и на Монмартре, куда не достигло еще известие о перемирии...»

Содержание

Часть I	6
Глава I	6
Глава II	16
Глава III	23
Глава IV	28
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Николай Александрович Бестужев

Русский в Париже 1814 года

Мы не столько выигрываем в свете, оказывая другим услуги, сколько принимая их. Возьмите увядающий цветок и посадите: сперва вы будете поливать его, потом полюбите, потому что хлопотали около него.

Стерн¹

2

² В предлагаемом здесь рассказе все слова и все действия исторических лиц исторически верны, и все анекдоты, о них помещенные, справедливы. Самое происшествие, давшее повод к рассказу, истинно. Повествователь только связал частные случаи и дал возможное единство.

Часть I

Глава I

Громадный Париж со своими предместьями уже был охвачен союзными войсками от впадения Марны в Сену и опять до Сены при Пасси. Перемирие было заключено; громы сражения умолкли на левом фланге: высоты Бельвиля, Менильмонта и Монлуи, занятые союзниками и уставленные пушками, грозили разрушением столице Франции; войска, их защищавшие, начали уже отступление, – но еще битва кипела по другую сторону канала д'Урк и на Монмартре, куда не достигло еще известие о перемирии.

На обрывистой горе Шомон, занятой исключительно русскими, подле самого обрыва, обращенного к городу, стояли четыре человека; сзади их множество офицеров русской гвардии и австрийских адъютантов. Один из четырех был высокого роста, плечист и чрезвычайно строен, несмотря на небольшую сутуловатость, которую скорее можно было приписать привычке держать вперед голову, нежели природному недостатку. Прекрасное белокурое лицо его было осенено шляпою с белым пером на конногвардейском вицмундире была одна только звезда. Рядом с ним стоял человек довольно высокий, сухощавый, с усами, в синем мундире с двумя петлицами на красном воротнике; в его чертах можно было прочесть целую повесть долгих несчастий: но теперь лицо его выражало спокойное удовольствие. Он разговаривал с первым, который с лорнетом в руке, поднятой по особенной привычке почти выше плеча локтем, смотрел на высоты Монмартра, где еще раздавались редкие выстрелы умолкающего сражения.

Первый был душа союза и герой этого дня император Александр; другой – король Прусский³, вознагражденный настоящими событиями и за свое терпение и за верный союз с Россией. Двое других были Шварценберг⁴ и Барклай де Толли.

Скоро и войска, защищавшие Монмартр, начали отступать. Это была роковая минута, решившая взятие Парижа, а с этим вместе участь Наполеона и с ним участь всей Европы. Восхищенный Александр обнял короля Прусского и, поздравив его с победою, сказал: «Бог рассудил нас с Наполеоном, теперь пусть потомство судит каждого из нас!» – Когда же первые восторги радости были разделены всеми присутствовавшими, император поздравил Барклай-фельдмаршалом и обратил потом довольственный взор на Париж, как на приобретенную награду, как на залог спокойствия народов. Солнце садилось; город развертывался как на скатерти под его ногами. Малочисленные остатки французских войск поспешно отступали отовсюду и, входя из окрестностей в заставы, тянулись вдоль внешних бульваров, окружающих город. Массы их показывались в промежутках строений; можно было различить, какого рода войско проходило и исчезало за домами: по облакам пыли видна была конница; штыки пехоты сверкали мелкими алмазными искрами, отражая последние лучи дня; артиллерия, сопровождаемая глухим стуком колес, отсылала густые облака в глаза победителей; как будто принужденная замолкнуть, все еще грозила своим угрюмым взглядом. Половина армии, направляясь на Фонтенебло, тянулась чрез Аустерлицкий мост, другая на Елисейские поля. Париж со своими серыми стенами и аспидными крышами был мрачен как осенняя туча; один только золотой купол дома инвалидов горел на закат ярким лучом – и тот, потухая, утонул во мраке вечера, как звезда Наполеонова, померкшая над Парижем в кровавой заре этого незабвенного дня.

Взоры Александра упивались этим зрелищем, этим торжеством, столь справедливо им заслуженным – и в это время от селения Ла-Вильет, где уполномоченные с обеих сторон

³ Король Прусский – Фридрих-Вильгельм III (1770–1840).

⁴ Шварценберг Карл-Филипп (1771–1820) – князь, австрийский фельдмаршал.

договаривались о сдаче Парижа, по долине показалось несколько верховых. Скачущий вперед останавливался, опрашивал и на ответы и на движения рук, указывавших на высоту Шомон, пустился во всю прыть к ней. Вскоре он явился на самой горе. Это был флигель-адъютант Александра, посланный с известием о перемирии. Теперь он приехал прямо от уполномоченных.

«Ваше величество, – сказал он, соскочив с лошади, – условия, на которых заключено перемирие, кончены. Войска имеют времени для отступления от Парижа до девяти часов завтрашнего утра. Маршалы, оставляя столицу, поручают ее великодушию вашему».

«Благодарю вас, – сказал император благосклонно, – вы вписали имя ваше в историю, остановив пототки крови, лившейся так долго в Европе».

Сказав это, император повторил известие королю Прусскому и генералам; потом взяв союзника своего под руку, отправился в главную квартиру в Бонди, где с трепетом ожидали уже его первейшие государственные люди Франции.

– Объявите моей гвардии и гренадерам, – сказал он, проходя мимо Баркляя, – что завтра мы вступаем парадом в Париж. Не забудьте подтвердить войскам, что разница между нами и французами, входившими в Москву, та, что мы вносим мир, а не войну.

Барклай отвечал почтительным наклоном головы, и за сим вся свита государей и генералов удалась.

Толпа молодежи, которая удерживалась в пределах молчаливости присутствием монархов, заговорила громким говором, когда принуждение исчезло. Радостные восклицания и поздравления сливались в одном невнятном шуме. Наконец вся толпа, насмотревшись на Париж и окрестности с того места, где стояли союзные государи, начала спускаться под гору, между кучками солдат распространяя известие о завтрашнем параде и вступлении; молва об этом полетела во все стороны.

Стан союзников представлял теперь живую картину всех ужасов сражения и торжества победы: стрелки стягивались, отряды соединялись, раненых носили сквозь биваки, которые разрастались с неимоверною скоростию; легко раненые шли, опираясь на свои ружья; все искали своих полков, и когда шумная молодежь вышла на шоссе большой дороги, между множества конных и пеших, которые толпились во всех направлениях, увидели они кирасира, который вел на поводу раненую лошадь и плакал. Это удивило любопытных; около него собрался кружок; все спрашивали, о чем он плачет?

Широкоплечий малороссиянин рассказал, что он всю службу не расставался с этою лошадью, свyksя с нею, как с родною, и теперь не может без горя видеть, что она тяжело ранена.

– Ну, куда же ты ведешь ее? видишь ли, как она мучится?

– Неужели хочешь, чтоб она издохла среди бивака? вылечить ее нельзя.

Кирасир остановился, начал ласкать бедное животное; слезы лились по загорелым щекам и порыжелым усам; когда он снимал седло и мундштук, он вытащил свой огромный палаш: «Когда так – нечего делать, – сказал он, – по крайней мере ты не будешь мучиться... прощай, Налетушко!..» – с этими словами он отвернулся, вонзил неверною рукою палаш под левую лопатку лошади – и пошел всхлипывая и закрыл руками глаза.

Офицеры безмолвно глядели ему вслед... но вскоре другие сцены и новые толпы развлекли их внимание.

С захождением солнца бесчисленные бивачные огни начали развиваться по всему полукругию, занимаемому войсками. Огромное зарево опоясало Париж и, дрожа в небе, отражалось неверным светом на мрачные стены города, на разоренные предместья, на массы движущихся солдат и на поле битвы, усеянное мертвыми. Опрокинутые вверх колесами зарядные ящики, подбитые лафеты, убитые люди и лошади валялись на каждом шагу. Солдаты строили биваки, разбирая крыши, двери, ставни и другие вещи оставленных домов в предместьях, занятых во время сражения; другие разводили огни, не щадя соседних виноградников, мебели, словом, ничего, что было у них под руками. После жаркого сражения солдат неразборчив в

неприятельской стороне, и особенно между пустыми домами. Вскоре показалось между ними и вино, чтобы приличнее торжествовать победу: одни покупали его у маркитантов, другие доставали безденежно, таская манерками из разбитых во время дела погребов, и тогда новость торжественного вступления распространилась, общая радость обнаружилась в шумных кликах и песнях.

Офицеры ходили кучками по всем полкам с радостными лицами; знакомые и незнакомые здоровались и целовались, как в Светлый праздник, рассказывая друг другу и про сегодняшнее дело, и про завтрашний парад, и про всю войну. Адъютанты, ординарцы и рассыльные скакали и сутились во всех направлениях. Одни были из главной квартиры государей, другие пробирались в главную квартиру Барклая; каждый искал и спрашивал своего назначения, фамилию, имена полков, приказания перелетали из уст в уста и слова, торопливо сказанные и на лету перехваченные, раздавались со всех сторон.

У подошвы Шомон, где расположилась русская гвардия в лагере...ского полка, около огня собралась кучка офицеров и громкий смех, далеко разносившийся, возвещал веселое их расположение.

– Чему вы смеетесь, господа! – вскричал пришедший вновь офицер, вступая в кружок, – поделитесь со мной вашим весельем, и я хочу посмеяться.

– Посмотри, какого оригинала завоевали мы вместе с Парижем. Его поймали между рото-зьями, которые вышли посмотреть на сражение, и теперь мы его вербуем в казаки.

В самом деле посредине их стоял полупьяный француз и размахивал казацкою пикой; на голове была казацкая шапка, у фрака одна пола оторвана.

– Но любезный Калесон, если ты хочешь быть казаком, – кричали ему весельчаки, – то надобно быть в куртке, оторви и другую полу.

Другую полу оторвали; офицеры божились, что он первый казак на свете; а мусье Калесон – клялся, что завтра пойдет с русскими *cosaquer le Paris*⁵ и поведет их в самые лучшие дома.

В эту минуту раздался ужасный треск, подобный взрыву подкопа: и над головами смеющихся полетели огненные змеи гранат, лопающихся и разгонявших веселые кучки. Все бросились в ту сторону, откуда послышался взрыв. – Это было в лагере уланов... что случилось?.. что такое?.. – спрашивали улан, которые ловили испуганных лошадей, оторвавшихся от коновязей – «взорвало пороховой ящик», отвечали некоторые.

На месте происшествия лежало пятнадцать человек убитых и обожженных, и между ними двое полковников и два офицера того полка; при них закапывали брошенный французами зарядный ящик, и мера предосторожности обратилась в пагубу от неосторожно брошенного ядра, давшего искру и воспламенившего все заряды. Тысячи убитых и раненых не производят в сражении на военного человека такого впечатления, как один убитый вне дела. По всему лагерю шум затих на несколько времени, пока печальное происшествие было передано из края в край; потом мало-помалу прежнее движение началось и громы кликов раздавались везде по-старому. Офицеры опять волнами разливались по лагерю; по всей линии тени двигались, мелькали и исчезали.

Военная музыка и песни разных наций гремели; все постигали важность победы и радовались концу кампании. Высоты, господствующие над Парижем, исключительно были заняты русскими, которые также не могли отказать в движении удовлетворенного честолюбия; но вскоре их радость сделалась умереннее: песни и музыка стихли, и когда в лагерях австрийских, прусских и виртембергских войск раздавались еще голоса импровизаций на свои победы – на французов и Наполеона, русские, не имея с природы склонности величаться своими подвигами, скромно и тихо готовились к завтрашнему вступлению, чистя ружья, задымленные порохом, и поправляли амуницию, потерпевшую от непогод и грязной бивачной жизни.

⁵ казаками в Париж (фр. – *Cост.*).

Гора Шомон служила сборищем разгульного офицерства, везде блистали эполеты, слышалось французское болтанье, шутки и смех с торговками и продавцами, пробравшимися из Парижа и незанятых окрестностей. Некоторые из смелейших жителей Бельвиля начали возвращаться в свои дома, в надежде найти что-нибудь нерасхищенным, в то время, как большая часть жителей всех вообще предместий, ушедшая в Париж с пожитками, со страхом ожидала, как поступят с ними северные варвары в стенах самой столицы.

Подле одного огня на этой высоте несколько гренадер чистили амуницию: один спарывал холстинные нашивки с воротника, предохраненного таким образом от непогод, другой починял наскоро сапоги; третьего ротный цирюльник держал за нос, соскабливая двухнедельную бороду. Все были заняты по-своему.

– Экая беда! – говорил один, стоя на коленях перед развернутым ранцем и подымая к свету порыжевший мундир, – и ночью он похож на зарево!.. что ж будет завтра? как быть, молодцы?.. давайте совет.

– Другого нечего делать как выкрасить, – сказал солдат, чистивший ружье.

– Да он ссядется, – перебил другой, который, несмотря на весенний холод, засучив рукава рубашки и поливая изо рта на белую перевязь, натирал ее мякотью голой руки, чтоб навести лоск на меловое беленье.

– Да он и не высохнет до утра, – промолвил сквозь нос страдавший под бритвою.

– А чтоб он высох и не сселся, – перехватил барабанщик, перетягивавший струны своего громогласного инструмента, – надо выкрасить его на тебе. Мы всегда так моем и белим шкуру на барабане.

Солдаты захохотали, но не менее того, надели мундир на хозяина, составили какую-то краску из бывших под рукою материалов, намочили ею щетки и начали натирать бедняка, который терпеливо стоял с распростертыми руками, как телеграф.

– Я тебе дал совет, Маслеников, – сказал чистивший ружье, – теперь ты скажи, чем выполлировать ствол? отверка у меня так заржавела, что хуже царапает.

– Экой ты детина, – отвечал труженик, морщась от брызгов, летящих со щетки, – вынь шомпол из первого французского ружья, да и катать, как воронилком, у них шомпола стальные, не нашим чета!

– Ив забыль так, – сказал усач, оборачиваясь во все стороны и ища глазами где-нибудь брошенного ружья. Он увидел на самой крутости ската убитого француза, который, лежа навзничь, держал в руке ружье.

– Смотрите, братцы, – сказал солдат, силясь вытащить ружье из замерзшей руки. – Этот молодец и по смерти не хочет отдавать своей игрушки, – он сделал еще несколько усилий; наконец решил выдернуть один шомпол и когда в досаде потрянул ружьем, то мертвое тело, расшевеленное попытками, покатилося по обрыву.

– Эх, брат, не ругайся над покойником, – сказал крашенный, – одно дело, что французы и сами народ не плохой, а другое, может, и тебе придется когда-нибудь считать звезды!

– Да не я, а он надо мной наругался. Только удалы же эти французы, собачьи дети: за этим не спор, что с ними с живыми надо держать ухо востро, а он и мертвый не плошает!..

Во время этих разговоров двое офицеров стояли поодаль в тени, чтоб не мешать солдатской веселости; смотрели, слушали и смеялись изобретательности русского ума. Это были два гвардейских полковника.

– Какова выдумка для крашенья? – сказал один из них, – я сейчас пойду в свой полк и прикажу всех так выкрасить для единообразия.

Другой насмешливо улыбнулся и отвечал:

– Ты любишь мундиры, а я людей; мне гораздо больше понравилась похвала неприятелю; у наших людей она часто имеет вид брани, но всегда стоит доброго панегирика.

Разговор их был прерван отдаленным криком, перебегавшим от огня к огню и несшимся по всем бивакам; солдаты и офицеры повторяли какое-то имя и вслед за тем явился молодой офицер...ского полка на усталой лошади, подъехал к разговаривающим и, увидев в одном из них своего полковника, передал ему какое-то приказание от дивизионного начальника.

– Кого вы ищите, Глинский? – спросил полковник, выслушав.

– Полкового адъютанта егерей. Я имел к нему приказание от полкового командира.

– Он проскакал недавно в полк. Но скажите, отчего вы до сих пор разъезжаете?

– Такое счастье, полковник: когда вы меня послали к Ермолову, я застал его одного; все адъютанты были разосланы, и я, благо на лошади, должен был съездить в главную квартиру.

– Что же новенького в главной квартире? – спросил первый полковник.

– Теперь идут переговоры о капитуляции Парижа и получено известие, что Наполеон в трех переходах отсюда; Мармон⁶ и Мортье⁷ отступают и стягивают к себе другие силы, поговаривают также, будто кампания не окончена.

– Право?... – сказал первый полковник, готовясь на новые вопросы, но второй перебил: «Пусти его, – сказал он, – ему сегодня было дела довольно, он хочет и отдохнуть. Г. поручик, – продолжал он, взяв за руку Глинского, – ищите адъютанта егерей, и ежели усталость позволит вам, приходите вместе с ним в мою палатку. Мы кончим ваше дежурство рюмкой доброго вина».

Глинский сжал руку своего полковника, вскочил в стремя, кольнул шпорами в окровавленные бока лошади и исчез, временно появляясь перед огнями и снова пропадая в темноте.

– Как ты думаешь об этом известии? – спросил первый, проводив глазами молодого человека.

– Думаю, что мы поразим бездействием все дальнейшие попытки к продолжению войны. Французы не пожертвуют своею столицею, как мы Москвою, и для ее спасения готовы принять все условия от победителей.

– Но Наполеон, который в двух переходах?..

– Ты ошибся, в трех. С ним кажется дело кончено. Впрочем ступай, крась своих солдат и не опоздай вступить в Париж. Если мы, и особенно в поновленных мундирах будем там, то, конечно, нечего бояться движений Наполеоновых.

– Смейся, любезный друг, а я непременно это сделаю.

Они расстались. Один пошел в свою палатку, другой к полку и до рассвета натирал, красил и сушил мундиры на усталых солдатах.

Таковы, или большею частью были таковы шумные и пестрые сцены всей ночи в стане союзников, тогда как мрачная тишина царствовала в оставленных предместьях. И в самом Париже улицы были пусты, несмотря на то, что огни сверкали во всех этажах домов, в которых граждане от мала до велика бодрствовали всю ночь, не смея предаться сну. Изумление, страх и ожидание неизвестного волновало все умы, одна мысль занимала каждого: что будет с городом и жителями, оставленными на произвол победителей и особенно русских, которых они по преувеличенным описаниям считали чудовищами и людоедами? Одни только патрули национальной гвардии, наскоро составленной, ходили по безлюдным улицам, предупреждая сборище людей, не имеющих ни крова, ни пристанища.

Но в это же время необходимость переворота и вопрос о восстановлении дома Бурбонов явились на сцену и, посреди безмолвия Парижа и цепенелых его жителей, люди всех партий работали для достижения каждой своей цели. Всю ночь кипела битва мнений; даже рассвет застал ее неоконченною; но в политике действия скрытны и следствия медленны; жертвы не

⁶ *Мармон* Огюст-Фредерик-Людовик (1774–1852) – маршал Франции, принимал участие во всех наполеоновских войнах. После падения Наполеона перешел на сторону Бурбонов.

⁷ *Мортье* Эдуард-Адольф-Казимир (1768–1835) – маршал Франции. По занятии Москвы был назначен ее губернатором и после ухода французов, по приказу Наполеона, взорвал часть кремлевских стен.

погибают, как на войне, мгновенно, и часто герой, отмеченный ее перстом, думая торжествовать победу, вдруг остается один среди поля и со стыдом бывает принужден воспевать собственное поражение.

Рассвело утро прекрасного дня; войска союзников, назначенные ко вступлению, тянулись вдоль дороги к Бонди; кавалерия, артиллерия, русская и прусская гвардия, два батальона австрийских гренадер, бывших при Шварценберге, несколько гренадерских полков корпуса Раевского⁸ стояли в колоннах вдоль шоссе, ожидая прибытия императора и короля прусского. У всех союзников на левой руке была белая перевязка; в киверах были воткнуты зеленые ветки, что было принято в сражении при Ратье для отличия своих от неприятелей⁹. Офицеры роились на дороге; различные толки и шумливая радость были на устах каждого. Одни готовились праздновать в Париже конец кампании и удовольствиями этой столицы заплатить за труды и лишения кровавой двухлетней войны; другие думали напротив, что это раннее торжество напрасно без уничтожения остальных способов Наполеона, и что будущее грозит новыми опасностями. Последнее могло оказаться верным, кто знал характер Наполеона, дух его войск, и соображал с этим известие о приближении французских сил, разнесшееся по всему лагерю.

Уже было семь часов утра, как показался от заставы С. Мартен кто-то верхом; за ним ехал трубач, и когда он приблизился к голове колонн, то сошел с лошади. Это был человек высокого роста, приятной наружности, но бледный и сильная грусть явно выражалась на его лице. На нем был синий сюртук, застегнутый сверху донизу и шляпа с черным плюмажем. Лицо его было знакомо многим из гвардейских офицеров. – Это Коленкур¹⁰, это Коленкур! – передавали те, которые знавали его, когда он был посланником в Петербурге и танцевали у него на балах, – и офицеры, любопытствуя узнать ближе знаменитого человека двора Наполеонова, понемногу составили около него кружок; между тем, как старший между ними подошел к нему узнать о его желании. – Я бы хотел видеть императора, – сказал он, и пока пошли доложить об этом Ермолу¹¹, он, узнав некоторых старых знакомых, вступил с ними в разговор и после нескольких учтивостей, спросил: почему они в таком параде? – Мы вступаем в Париж и этим парадом празднуем окончание войны, отвечали ему. Казалось, эти слова пробудили национальную гордость француза: он поднял голову, отступил на шаг, расстегнул сюртук, из-под которого блеснул шитый мундир, и сказал: – Не знаю, все ли то может случиться, что предполагается?.. В это время Ермол, вышед из своей палатки, увел с собою гостя, который вскоре отправился в главную квартиру государей; но менее нежели чрез час он уже ехал назад и вид его был еще печальнее прежнего¹².

Наконец император с королем прусским приехали и осмотрели все войска. Русские точно были в новой амуниции и не только исправность, но даже щеголеватость отличали ряды русских героев. Никакой на свете солдат не имеет столько способности, чтобы помочь самому себе, как русский.

Командные слова полетели из уст в уста по всей линии, барабан дал знак к маршу; войска тронулись, заколебались и потекли рекою. Колонны их, следуя в мерных промежутках, скрывались в предместий одна за другою, как волны, которые бьют и подмывают оплот, противопоставленный их стремлению.

⁸ Раевский Николай Николаевич (1771–1829) – генерал от кавалерии, один из героев Отечественной войны.

⁹ Эта мера была необходима потому, что под конец кампании к союзу пристали войска всей Европы, из коих многие были одеты сходно с французскими и что это было поводом к многим замешательствам во время дела.

¹⁰ Коленкур Арман-Огюст-Луи (1772–1826) – французский дипломат, бывший посланником в Петербурге. Предоставление Наполеону после отречения острова Эльбы приписывают Коленкуру и его влиянию на Александра I.

¹¹ Ермол Алексей Петрович (1772–1861) – генерал от инфантерии, во время походов 1813–1814 годов был начальником артиллерии и главной квартиры союзной армии.

¹² Он приезжал с договорами от Наполеона; но император, верный своему слову не иметь никаких переговоров с Наполеоном, не принял Коленкура.

Там, где собрано много людей в одном месте, каждая новость пролетает подобно электрическому удару. Вчерашние известия о близости Наполеона, сегодняшние слова Коленкура были известны последнему флейтщику и когда дружный солдатский шаг начал отзываться гулом между стенами пустых домов оставленных предместий, когда запертые двери и окна, инде выломленные силою, или разбитые сундуки посреди улиц показали, что тут нет жителей, то солдаты, почитая это уже самым Парижем, начали поговаривать между собою потихоньку, «что этот вход в Париж похож на Наполеоново вступление в Москву».

– Что бы и нам также не выступить отсюда, как французам, – говорил один.

– Что бы нам не попасть в ловушку, – прибавлял другой.

– Что мудреного, – перебивал третий, – да еще и *Сам* идет по пятам за нами¹³.

Такие разговоры, как пчелиное жужжанье разносились от головы до хвоста каждой колонны и передавались другим по мере той, как они вступали в улицы предместий. Наконец появились ворота С. Мартен. Музыка гремела; колонны, проходя в тесные ворота отделениями, вдруг начали выстраивать взводы, выступая на широкий бульвар. Надобно себе представить изумление солдат, когда они увидели бесчисленные толпы народа, дома по обе стороны, униженные людьми по стенам, окошкам и крышам! Обнаженные деревья бульвара, вместо листьев, ломились под тяжестью любопытных. Из каждого окна спущены были цветные ткани; тысячи женщин махали платками; восклицания заглушали военную музыку и самые барабаны. Здесь только начался настоящий Париж – и угрюмые лица солдат выяснились неожиданным удовольствием.

Между тем развернутые взводы подвигались посреди народа, который теснился, раздавался на стороны, но беспрестанно скоплялся впереди в таком множестве, что солдаты должны были укорачивать шаг, а задние взводы останавливаться, чтоб не набежать на передних. В одну из таких остановок первого взвода...ского полка, у самых ворот, офицеры задних отделений забежали вперед посмотреть, что тут делается. Тут стоял караул только что утвержденной национальной гвардии, и как эта служба была слишком нова для миролюбивых граждан, то насмешливая молодежь, судя по сравнению, перебирала весь фронт, смеючись над неуклюжестью непривычных ратоборцев. Один из офицеров подошел к фронту и вступил в разговор с гражданином, который казался ему неловчее других под ружьем и сумою. С злым намерением спросил он его фамилию, но изумление его не имело границ, когда тот подал карточку со своим адресом: это был славный живописец Изабе¹⁴. Он избавлен был от замешательства раздавшимся криком: «Jean d'Astrakan, vive Jean d'Astrakan»¹⁵, который повторялся кругом и снизу до верха самых труб. Все оборотились и увидели русского офицера, въехавшего верхом в ворота, в объятиях какого-то француза, который, повиснув у него на стремяна, в иступлении бросил шляпу кверху, повторяя свои восклицания: vive Jean d'Astrakan! – перехваченные толпою. Эта загадка объяснилась рассказом офицера, что он за три года назад воспитывался в Париже в пансионе, в котором товарищи не могли выговаривать мудреной для них русской фамилии, называли его по родине: «Jean d'Astrakan» и что этот француз, бывший у них башмачником, теперь узнал его.

Войска двинулись опять. Перед одним из взводов этого полка шел знакомый уже нам немного поручик Глинский, герой этого рассказа, но не этой главы, посвященной героям истории. Ему едва минуло 20 лет и свежесть молодости, соединенная со стройностью рослого стана и красотою лица, возбуждали всеобщее удивление французов. Каждый шаг взвода стоил

¹³ *Сам* в эту войну означало у солдат *Наполеона*; они всегда угадывали его присутствие в сражении и если у наших шло дело худо, они всегда говорили: «верно *Сам* здесь».

¹⁴ Изабе, Isabeu – славный живописец миниатюрных портретов. Он писал портреты Наполеоновой фамилии, а после, в картине, представляющей Венский конгресс, изобразил портреты всех государей и знаменитых людей того времени, участвовавших в конгрессе. Он первый ввел портреты на бумаге акварелью.

¹⁵ Жан Астраханский, да здравствует Жан Астраханский (*фр.* – *Cosc.*).

ему просьб, убеждений и даже угроз штыками; любопытные беспрестанно перебежали дорогу, забежали вперед, чтобы больше любоваться русскими гренадерами и красивым их офицером. Бездна мальчишек бежала сбоку, спереди и со всех сторон, одни верхом на палочках, подражая казакам; другие подле солдат шагали вместе с ними под музыку. Беспрестанно сыпались вопросы: «*au nom de Dieu, dites nous, si vous êtes des Russes? – Comme ils sont jolis ces Russes!*» и проч.¹⁶. Несколько раз бедный Глинский был останавливаем за шарф; однажды какая-то старушка бросилась ему на шею и расцеловала в восхищении. Те же сцены повторялись и в других взводах – и толпы народа, следуя за ними, теснились, толкались, давили одни других, кричали, шумели и снова задвигали дорогу себе и взводам. Таким образом войска прошли бульвары Итальянский и Маделены и приближались к площади Людовика XV.

Вступление союзных государей было таким событием, какого ни древность, ни современная история не могут представить. Предшествуемые эскадроном лейб-казаков, государи тихо подвигались посреди копления и криков громад народных. Нельзя представить энтузиазма, доходившего даже до исступления к победителям. Париж, сравненный одним писателем с океаном и дома его с волнами, которые окаменели и остались недвижимы, теперь походил на живое море: оно двигалось, текло, колыхалось и волны его ожили, кипя, переливаясь и крутясь народом, покрывшим дома до самого верха, – в то время как земля стонала протяжным гулом от бури, его всколебавшей. Союзники, возникшие для парижан будто из недр земных – так мало они были приготовлены к их появлению; русские, которых они нашли вовсе не такими, как воображали; стройность их полков, блестящая щеголеватость офицеров, говоривших с жителями их языком, красота русского царя, миролюбивые его намерения, кротость в войсках, какой не ожидали – все это было так внезапно для парижан, так противоположно тому, что они привыкли воображать, что появление союзников в стенах столицы стало для побежденных таким же торжеством, как и для победителей. Везде раздавались крики: «Да здравствуют государи! Да здравствуют освободители!...»

В один из таких моментов, когда скопление народа заставляло останавливаться торжественное шествие монархов на Итальянском бульваре, когда окружающие их толпы кричали, махали шляпами, когда задние ряды зрителей завидовали передним и, привставая на цыпочках, усиливались взглянуть на победоносных героев, на блистательную их свиту и парадирующие войска, позади всех раздавался жалобный, пискливый, но резкий голос малорослого горбунчика, который как ни силился приподняться на носках или вскарабкаться на плечи передних зрителей, но в обоих случаях несчастный рост изменял ему. «Сжальтесь, господа!.. позвольте взглянуть на союзников... будьте добры!...» – кричал он под ухом одного рослого мельника, превышавшего головою всех впереди стоявших и который, по доброте сердца, из передних рядов, уступая беспрестанно просьбам тех, которые его ниже, очутился в последних; добродушный великан тронулся несчастным положением карлика, обернулся к нему и, не говоря ни слова, посадил к себе на плечо, как обезьяну.

– Скажите мне, укажите, где Александр? который царь Московский? – кричал карлик, вместо того, чтобы благодарить своего покровителя.

– Вот он по правую руку.

– А это австрийцы?

– Нет, это русские.

– Не может быть! как же они без бород?

В эту минуту крики: да здравствует Александр! да здравствует Вильгельм! заколебали толпою. Карла визжал изо всех сил. Близко подле мельника два человека, порядочно одетых, вдруг закричали: да здравствуют Бурбоны! махая белыми платками. Впервые раздались эти звуки между народом, который вовсе не был приготовлен к мысли о Бурбонах: толпы зашу-

¹⁶ Ради бога скажите, вы русские? – Какие они красивые, эти русские! (фр. – *Cosm.*).

мели, чтоб уняли этих крикунов, ближайшие тянулись к ним с кулаками, дальнейшие нагибались уже за камнями, как вдруг пронзительный голос горбунчика покрыл все голоса вопросом:

– Что это за белая перевязка у союзников? – видно, они за Бурбонов?..¹⁷

Поднятые руки опустились; камни выпали; чернь обратила внимание на белую перевязку союзников и потом мрачно озидала бурбонистов, которые, ободрясь, громко кричали свои возгласы, начавшие повторяться во многих местах бульвара.

– Возьми мой платок, махай и кричи: да здравствуют Бурбоны! – говорила карле одна женщина, стоявшая подле мельника, – вот тебе за это два Наполеона¹⁸.

– Чтоб я стал кричать, чтоб я стал махать и продавать императора?!.. вот тебе за это, негодная женщина, – кричал, горячась, карлик, раздирая белый платок, ему данный, и бросая лоскутья на воздух.

– Вот Бурбонские кокарды!.. белые кокарды! – кричали около стоящие, смеючись на несшиеся по воздуху лоскутья; но что для близких было смехом, то отдаленные приняли за настоящее дело: лоскутки ловили женщины, драли новые платки, белые кокарды вмиг очутились на шляпах – и крики: «да здравствуют Бурбоны» начали сливаться с криками победителей. Вскоре имена государей и Людовика XVIII были нераздельными восклицаниями. Все думали угодить этим союзникам, хотя в это время никто из них не помышлял еще о Бурбонах!..

Толпы волновались и кружились; давили друг друга, бросались под ноги лошадям государей, останавливали, осыпали поцелуями конскую сбрую, ноги обоих монархов и почти на плечах несли их до площади Людовика XV, где они остановились на углу бульвара видеть, как будут проходить войска.

Площадь захлынула народом, едва оставались для прохода взводов места, охраняемые казаками. Цвет парижского общества, тысячи дам, окружали и теснили со всех сторон государей. Военные султаны, цветы, колосья и перья дамских шляп колыхались, как нива. У каждого из адъютантов, у каждого верхового стояли на стременах дамы, – один казак держал на седле маленькую девочку, которая, сложив ручонки, глядела с умилением на императора, у другого за спиною сидела прекрасная графиня де Перигор¹⁹, которой красота, возвышаемая противоположностью грубого казацкого лица, обращала на себя взоры всей свиты государей и войск, проходивших мимо с развернутыми знаменами, с военной музыкою, с громом барабанов, в стройном порядке, посреди непрерывных и оглушающих кликов народа. Русские более всех внушали энтузиазма: наружность всегда говорит в свою пользу и рослые гренадеры, красивые мундиры, чистота, как будто войска пришли сию минуту из казарм, а не из дальнего похода; необыкновенная точность и правильность их движений, а более всего противоположность народной физиономии с фигурами австрийцев и пруссаков, обремененных походною амунициею, изумляла французов. Они не верили, чтоб северные варвары и людоеды были так красивы; они были вне себя от восхищения, когда почти каждый офицер русской гвардии учтиво удовлетворял их любопытству, мог с ними говорить; тогда как угрюмые немцы, ожесточенные противу французов, сердито отвечали на все их вопросы: *Ich kann nicht verstehen!*..²⁰

Наконец войска прошли; государи удалились; толпы мало-помалу рассеялись: но волнение парижан еще не утихло. Партия роялистов, разъезжавшая целое утро с белыми знаменами и белыми кокардами, ободренная кликами за Бурбонов во время шествия войск, отправилась по городу, сопровождаемая множеством народа, который увлекается всякою переменою; они сбивали вензеля Наполеоновы, ломали императорские гербы, наконец явились на Вандомской

¹⁷ Цвет знамени рода Бурбонов белый.

¹⁸ Наполеондор или просто Наполеон – золотая 20-франковая монета.

¹⁹ Бывшая после герцогиня Дико, племянница Талейрана.

²⁰ Я не понимаю (нем. – *Сост.*).

площади. Там они отбили дверь, ведущую на колонну Наполеонову; множество людей взобралось на самый верх статуи, они неистовствовали; сбили изображение победы, бывшее у него в руке, заложили за шею статуи веревку, сбросили другой ее конец вниз, запрягли несколько лошадей и при бешеных криках: «a bas le tyran! a bas l'usurpateur! a bas le mangeur d'ertîans...»²¹ старались опрокинуть колоссальную фигуру, но образ исполина, уронив только из рук победу, остался непоколебим и посмеивался их ничтожным усилиям!..

Вскоре по городу пошли смешанные патрули союзных войск и национальной гвардии. Порядок был восстановлен – и на этот раз изображение великого человека было избавлено от поругания.

Союзники в ту же ночь были почти все размещены по казармам. На другой день офицерам выданы билеты на постой и с этого времени начинается наш настоящий рассказ.

²¹ долой тирана! долой узурпатора! долой фанфарона (*фр.* – *Cост.*).

Глава II

Поутру, после худо проведенной ночи в так называемой Вавилонской казарме, в предместьи С. Жермен, офицеры всех полков, там квартировавших, получили от своих полковников билеты на постой в городе.

Полковник гвардии...ского полка, один из тех, которых мы третьего дня видели у бивачного огня на горе Шомон и у которого Глинский служил в полку поручиком, был необыкновенно добрый человек, с положительным умом и твердым характером, неискательный и нетребовательный. Он получил изрядное образование, но по светски и по настоящим обстоятельствам оно было недостаточно, потому что он не говорил ни на каком иностранном языке, хотя и читал на двух или трех. Он стыдился этого недостатка, тем более, что французский язык был необходимою вещью для гвардейского офицера, а особенно теперь, в Париже. Из всех офицеров своего полка он наиболее любил Глинского как юношу, порученного ему отцом, как человека с прекрасными качествами, которые он употреблял не для того только, чтобы блистать ими подобно многим из товарищей, но для приобретения новых развития своим способностям. Всю кампанию Глинский пользовался расположением своего полковника и вполне заслуживал его.

— Вадим, — говорил ему полковник, взяв из рук Глинского билет, — я хочу доставить вам лучшую квартиру: возьмите мой билет. Мне назначили постой в самой модной части города, у какого-то знатного и богатого маркиза.

— Где же вы сами будете жить, полковник? Каким же образом я отниму у вас квартиру? почему вы не хотите жить на ней?..

— Я буду жить в трактире: мое состояние позволяет мне это и там я буду сам себе господин, тогда как при моем чине или буду беспокоен для почтенных хозяев, или они будут мне в тягость. Вы молоды: небольшое принуждение не должно быть вам тяжело, тем более, что у вас на первый раз готово порядочное знакомство. А я каким образом познакомлюсь? на каком языке буду объясняться с модными парижанами? Возьмите билет и веселитесь в Париже.

Глинский благодарил доброго полковника как мог. Молодому человеку лестно было с первого дня вступить в лучшее общество Парижа и, следовательно, воспользоваться всем, что могло ему представить любопытного и приятного эта столица вкуса и роскоши. С веселым сердцем отправился он искать своей квартиры и первый попавшийся навстречу мальчик повел его в предместье С. Жермен, в улицу Бурбон, как значилось в его билете.

Кто бывал в Париже, тот, конечно, припомнит положение улицы Бурбон, первой вдоль берега Сены и где все почти дома знатнейшей парижской аристократии построены наподобие дворцов, имея с одной стороны обширный двор, а с другой сад. Огромный дом маркиза Бонжеленя, у которого Глинский остановился с провожатым, был подъездом на улицу и составлял с флигелями подобие буквы П. Великолепные железные сквозные ворота затворяли большой двор; перед домом, сзади которого, до самой набережной Сены, простирался довольно просторный сад. По обе стороны ворот, в колоннаде, их составлявшей, были небольшие флигеля, из которых в одном помещался привратник с женою. Оба они выглянули в свое оконце, когда Глинский спросил: дома ли маркиз, и оба в один голос отвечав утвердительно, выскочили под ворота; муж проводить гостя с низкими поклонами наверх, а жена пересказать всей дворне, что к ним зашел какой-то иностранный офицер.

Русский на другой день вступления в Париж, имеющий надобность до маркиза, в ту же минуту был допущен. Его провели чрез ряд богато убранных комнат, увешанных картинами лучших мастеров; наконец в кабинете увидел он маленького сухого черного человечка, зашитого во фланель с головы до ног, в папильотках и который торопился надевать кое-как сюртук, чтобы принять гостя. Это был сам маркиз, который побегал с извинениями, что принимает

в таком наряде потому только, что не желал заставить дожидаться офицера армии победителей ни одной минуты. После нескольких учтивостей, он спросил Глинского, по какому случаю обязан счастьем видеть его.

– Имея билет на квартиру в вашем доме, маркиз, я решился потревожить вас; я русский офицер старой гвардии императора.

Слова: *русский, старая гвардия*, заставили маркиза поднять брови и воскликнуть с видом удовольствия: «Офицер старой гвардии! Милости просим!» Видно было, что он отдавал преимущество последнему титулу, с которым явился к нему молодой человек. Потом, как бы желая поправить свое восклицание, он продолжал: «Милости просим! я очень рад, что могу доказать, сколько люблю и уважаю вашу нацию и сколько предан императору Александру, на которого мы возлагаем все наши надежды. Ваше имя? милостивый государь?»

Глинский сказал ему свой чин и фамилию.

– Прекрасно! М. Glinsky, – сказал маркиз, подавая руку, – с этой минуты вы узнаете, могут ли французы равняться с вами, русскими, в гостеприимстве, о котором так говорят много. Теперь позвольте мне на минуту оставить вас, чтоб кончить свой туалет и потом показать ваши комнаты. Г-н Дюбуа, прошу вас занять г. Глинского, нашего гостя домашнего, пока я оденусь, – сказал старик вошедшему человеку средних лет. – Г. Глинский, рекомендую вам друга нашего дома, г-на Дюбуа; мы живем вместе. – Сказал это маркиз и скрылся, послав рукой поцелуй нашему герою.

По-видимому, новопришедший восхищался гораздо менее маркиза приходом союзников в Париж и помещению русского офицера под одною с ним крышею. После некоторых сухих и принужденных приветствий он стал к окну, сложа руки. Это был человек лет сорока, замечательной физиономии, которая делалась еще выразительнее от черной перевязки, закрывавшей половину его лба. Крест Почетного легиона висел на его петличке. Видно было, что трудная жизнь оставила следы свои: складка между бровями, преждевременные морщины, впалые глаза и бледные щеки обнаруживали следы пылких страстей. Но, несмотря на это, невзирая на обезобразившую его черную повязку, черты лица его имели приятное выражение.

От Глинского не укрылось ни одно из этих обстоятельств; ему понравился этот человек, несколько раз он старался заговаривать с ним, но сухие, хотя учтивые ответы обезохотили его продолжать попытки. Он замолчал и обратил взоры на большой женский портрет, один только висевший во всей комнате. На нем изображена была во весь рост очень молодая, необыкновенно прелестная особа, сидевшая в саду под деревом. Есть лица, привлекающие к себе внимание, от которых нельзя отвести глаз и которые тем кажутся совершеннее, чем долее на них смотришь. Перед Глинским было такое лицо. Во всех чертах, в улыбке, в больших глазах светилась прекрасная душа и очарование прелести тем было совершеннее, что в каком бы положении зритель ни находился, глаза портрета глядели прямо на него – и тот, кто однажды почувствовал впечатление этого взгляда, не решался прервать удовольствия, так сказать, упиваться этими неизъяснимо приятными взорами.

Долго стоял Глинский, задумавшись перед картиною, наконец спросил у Дюбуа, чей это портрет?

– Графини де Серваль, дочери маркиза, потерявшей при Дрезденской битве²² мужа, бывшего адъютантом у Наполеона.

– Она живет у отца?

– Теперь уехала с матерью в Лион, перед вступлением союзных войск в Париж.

– И не возвратится более?..

²² *Дрезденская битва* – одно из крупных сражений в августе 1813 года между союзной (русско-прусско-австрийской) Богемской армией фельдмаршала К. Шварценберга и армией Наполеона. Была последней победой Наполеона в кампании 1813 года.

– Не знаю.

– Похож ли этот портрет на графиню?..

Дюбуа посмотрел пристально на Глинского, улыбнулся и сказал: «Графиня лучше своего портрета».

Глинский обратился снова к портрету: «какое несчастье, – думал он, – быть лишены общества такой женщины!», глаза его с жадностью пробежали все черты, все подробности картины: приход маркиза извлек его из задумчивости.

Он одет был в щегольской фрак, сшитый по последней моде, во всей одежде была изысканность, тем более видная, что замечалось желание соединить достоинство со щегольством и старость прикрыть модою. Голова была завита и густо напудрена, воротник рубашки подымался выше ушей и закрывал щеки, так что от всего лица только и видны были торчащие серые брови, сверкающие черные глаза и сухой орлиный нос. Две худые и костлявые ноги, заключенные в лосиное исподнее платье и в сапоги с отворотами и шпорами, походили более на чубуки, нежели на то, что называется у других людей ногами. На груди висел лорнет, в руках был хлыстик. – «Этот портрет моей дочери, – начал он, – писанный три года назад, когда она вышла замуж. Бедная Эмилия с тех пор успела уже овдоветь! В двадцать лет быть вдовою ужасно! тем более, что она решилась не выходить замуж снова, и я боюсь, что она с своим характером сдержит слово!» Маркиз проговорил это, обратясь к портрету, сложа руки и почти про себя. Густые его брови сдвинулись, скорбная мысль выразилась на лице; он взял табакерку, понюхал табак и, как бы опомнясь, сказал:

– Извините меня, когда я вижу кого-нибудь перед портретом, сердце у меня сжимается!.. Знаете ли, что это *chef d'oeuvre*²³ Жерара?

– Et le *chef d'oeuvre de la nature*²⁴, маркиз.

– Браво, г. Глинский! – воскликнул старик, взяв за руку юношу, – это комплимент и мне. Теперь пойдемте: я покажу сам ваши комнаты. – Сказав это, он шаркнул, сделал поклон и повел с торжественным видом своего гостя.

Они сошли в нижний этаж, где одна половина определена была Глинскому.

– Не знаю, понравятся ли вам эти комнаты, – говорил маркиз, – что касается до меня, мне когда-то они очень нравились: здесь я женился и провел первый медовый год при жизни покойного отца; вверху я не был уже так счастлив: там состарелись мы оба с маркизою. Вот видите, г. Глинский, эти окна у нас на двор, а те в сад, двери в него из вашей большой залы и одни только во всем доме. Здесь комната для вашей спальни, здесь гардероб, здесь кабинет, здесь...

– Помилуйте, маркиз, на что мне столько покоев? все мои пожитки и весь гардероб в одном чемодане, сверх того, может быть, завтра же меня здесь не будет.

– Будете, будете! Ваш император останется устроить наши дела, а вы останетесь при его особе. Но где же ваши пожитки? – где ваши люди?..

– Люди, маркиз?.. Ныне прошли те времена, когда можно было в армии таскать за собою дюжину слуг и экипажей; если я не ошибаюсь, я видел уже на дворе своих лошадей с моим человеком и со всем походным богатством.

– В таком случае вот ключ от ваших дверей. Чрез час мы завтракаем: хотите ли разделить с нами трапезу, или угодно вам, чтобы завтрак принесли сюда?

– Я не желал бы на волос изменять ни жизни вашей, ни порядка.

– А в таком случае ваш прибор за столом и ваше место подле камина всегда будут ожидать вас наверху – итак, до свидания. Я не хочу мешать вашим хозяйственным распоряжениям.

²³ Лучшее творение (*фр.* – *Cosm.*).

²⁴ Лучшее творение природы (*фр.* – *Cosm.*).

Глинский осмотрел свои владения, расположился и в ожидании завтрака сошел в сад. Большая стеклянная дверь вела туда из его залы. Одна прямая аллея посередине могла только показать длину сада, но другие дорожки, расположенные в английском вкусе, совершенно скрывали его пространство, тем более что стены были закрыты высокими тополями и что соседние сады казались продолжением здешнего. На многих площадках в приличных местах стояли прекрасные мраморные статуи. Не прошло четверти часа, как Глинский услышал за собою походку и мужской голос, называвший его по имени. Он обернулся: молодой человек лет двадцати, в мундире национальной гвардии, среднего роста, очень приятной наружности и открытой физиономии, держал уже его за руки и со свойственною французам любезностью объявил, что он племянник маркиза, что его имя виконт де Шабань, потом без всяких околичностей просил Глинского о знакомстве и дружбе. Между молодыми людьми то и другое заводится скоро: сердца, не испытывавшие несчастий, характеры, не омраченные опытом, доверчивы и общительны. Глинский с Шабанем, взявшись за руки, пошли по саду и после получасовой прогулки, когда их позвали к завтраку, они были совершенными друзьями.

– Надобно вам сказать, – говорил Шабань, идучи из сада, – что вы будете жить в этом доме с большими оригиналами, но с оригиналами любезными. Один недостаток моего дядюшки состоит в том, что он, несмотря на бытность в Париже при всех переворотах, не может забыть старинного двора, старинной монархии и старинных привычек. Вследствие последнего ему кажется, что человек хорошего тона не должен ничего делать, оставляя эту заботу плебеям и людям без состояния и что одна только служба при дворе прилична дворянину с его родословною. Есть у нас другой оригинал: г. Дюбуа, вы его увидите за завтраком...

– Я уже его видел...

– Это оригинал, у которого, однако, сердце и голова на своем месте. Его странность та, что он обожает Наполеона более, нежели можно любить любовницу. Признаюсь, этот недостаток заразителен, когда слышим от него об этом человеке. Вот вам основные черты характеров, насколько позволяет краткость времени описать их.

– Но что он за человек и почему он живет в доме?

– Это тоже черта его оригинальности. Он служил в военной службе, был адъютантом при Наполеоне и в начале 1812 года, посланный в Испанию, был тяжело ранен гверильясами²⁵. Эта рана принудила его выйти в отставку. Наполеон обещал ему место: но несчастная ваша война, увлекши императора, не позволила ему сдержать слово. Дюбуа, служив вместе с де Сервалем, зятем маркиза, был ему друг, и маркиз по желанию зятя взял к себе раненого. Когда Дюбуа выздоровел от тяжелой раны, он не мог более служить в военной службе и, ожидая места, обещанного Наполеоном, не хотел оставаться на хлебах маркиза иначе, как отправляя обязанность его домового секретаря, и с тех пор дружба и уважение домашних увеличиваются более и более к этому человеку, невзирая на бесконечные его споры с маркизом и разность их мнений.

– Черная перевязка, верно, следствие раны, полученной в Испании?

– Нет, это гостинец, принесенный третьего дня со свидания с вами, г-да русские. Несколько генералов, лечившихся от ран в Париже, многие офицеры, жившие давно в отставке, а в том числе и Дюбуа, – явились к маршалам Мармону и Мортье для защиты столицы, Дюбуа ранен снова при взятии Бельвиля.

– Вы говорили, что он был друг графу де Серваль, вдова его возвратится ли из Лиона?

– А вы уже знаете все подробности. Не могу вам ничего объявить об этом. Впрочем, предостерегу вас, что если она и придет, то ее надобно беречься!.. она прекрасна как ангел, холодна как лед и не кокетка. С такою женщиною долго ли до дурачества: можно влюбиться и безнадежно. Однако, об этом после. Честный и порядочный француз сперва завтракает, а потом говорит о делах.

²⁵ *Гверильясы* – испанские партизаны, активно действовавшие во время испанской войны при Наполеоне.

Говоря это, молодые приятели вошли в комнату, где ожидали их маркиз и Дюбуа к завтраку.

– Мы теперь по семейному, – сказал маркиз Глинскому, – надеюсь, что вы ознакомились уже с г. Дюбуа и повесую племянником. Судьба нам велит, может быть, прожить и долго вместе, итак, начнем с того, чем другие кончают: примемся за дела без церемоний. Пью за здоровье общей дружбы и искренности! Время, которое проводят в пустых формах первого знакомства, теряется для дружбы.

Старый, но живой маркиз одушевлял всех своим примером: завтрак был превосходный; все смеялись от чистого сердца, каждый прикладывал свое словцо к беседе, один только Дюбуа сохранял важность и грустный вид, не принимая участия в разговорах, относившихся до настоящих обстоятельств.

– Вы знаете, г-да, – сказал маркиз, – что император Александр издал прокламацию, в которой он предоставляет самим французам избрать себе такой род правления, какой им угодно. Я уверен, что Франция, наученная опытом, послушается голосу рассудка и возвратится к правлению благоразумнейшему, к отеческому правлению Бурбонов.

– Я думаю, – сказал Шабань, – что именно Франция, наученная прошедшими опытами, более будет заботиться о форме правления, нежели прежде, чтобы доставить счастье и упрочить спокойствие своим гражданам. Кто бы ни занял ее престол, но желательно бы для французов, столько потерпевших и уже усталых от перемен, чего-нибудь такого, что бы обеспечило целый народ и более связывало его с своим монархом.

– Но мнение парижан выразилось, а этого только и ждал император Александр, и если Бурбон возвратится, если он законный государь, то нам от его только снисхождения должно ждать такого образа правления, какое он заблагорассудит.

– Но я слышал, что сенат и временное правление уже готовят хартию, которая предложится королю для обнародования при вступлении на престол...

Маркиз хотел возражать, но Дюбуа прервал его:

– Вы забыли, г-да, короля Римского²⁶, сына Наполеонова?..

– Мне сказывали сегодня, – начал Глинский, – что наш император и слышать не хочет ни о Наполеоне, ни о регентстве за его сына. Последнее могло бы случиться, если б поспешность Иосифа²⁷, который увез императрицу, не повредила делу короля Римского. По крайней мере, Мария-Луиза могла бы требовать этого. Теперь она за 56 миль отсюда; император австрийский остался в Дижоне; Шварценберг, не имея никаких предписаний по этому предмету, предоставил вместе с другими парижанам право избрания и потому вопрос об этом был только мимоходящим мнением, – вчера вечером наш император кажется положительно выразился в пользу Людовика XVIII.

Дюбуа удержал вздох – и опустил голову на грудь.

– Кто бы подумал, – сказал старый маркиз в восхищении, – когда победоносный Наполеон собирался в Россию, что чрез два года русские придут по его следам в Париж и что мы будем пить за здоровье наших гостей неразлучно со здоровьем Бурбонов? Кто бы подумал, что самая несбыточная мечта готова сбыться на самом деле? Г-да! за здоровье Людовика и за счастливое его прибытие в столицу своих предков!..

Глинский поднял рюмку; как русский, как юноша, упоенный славою оружия победительных войск, он был здесь представителем освободителей Европы и восстановителей трона Бурбонов.

– Охотно пью за здоровье Людовика и желаю, чтобы Франция, была счастливее прежнего.

²⁶ *Король Римский* – Наполеон-Франц-Иосиф-Карл (1811–1832) – сын Наполеона и Марии-Луизы. После первого падения Наполеона был привезен в Австрию и поселился вместе с матерью у своего деда, австрийского императора Франца I.

²⁷ *Иосиф Бонапарт* – старший брат Наполеона, король Испании в 1808–1813 годах.

– Желаю благоденствия народов, долгого мира и свободы Франции для того, чтоб она отдохнула и от республиканских ужасов и от беспрестанной войны, под умеренным правлением Бурбонов! – сказал Шабань.

Дюбуа взглянул сурово на него, поднял также рюмку и произнес медленно:

– Желаю, чтобы юности слава не казалась тяжелою; пью за память храбрых и в честь великих. Дай бог! чтоб Франции возвратилось все ею утраченное.

– Дюбуа! вы грешите против провидения, – сказал маркиз, – я понимаю ваши мысли, уважаю вместе с вами великих, но это величие дорого стоило Франции. Счастьем и несчастьем есть конец: судьба показала тому разительный пример, проводя одного по всем степеням величия, чтобы низвергнуть с высоты – и сохранивши посреди бедствий и нищеты другого, чтобы отдать ему престол Франции, ожидающей с нетерпением своих любимых государей.

– Извините меня, маркиз, – сказал Дюбуа, – я дышал славою своего отечества, а славу его составил один человек. Он пал, он в несчастии и потому-то именно Франции должно любить и помнить его. Но мы его забываем слишком скоро и простираем руки к тому, кто, может быть, возобновит все ужасы прежней монархии и будет стоять дороже Франции, нежели все войны Наполеона.

– Я знаю, это всегдашний ваш образ мыслей, но теперь выражать их напрасно.

– Напротив, я думаю, что выражать их было бы для меня неприлично во время владычества Наполеона. Тогда меня почли бы льстецом: а теперь мне нечего выиграть моею похвалою.

– Но зато можно проиграть этими словами.

Дюбуа улыбнулся и не отвечал ни слова.

– А вы кого любите? – спросил потихоньку Глинский у Шабаня.

– Я люблю женщин, – отвечал тот, прихлебывая из рюмки, – и все то, что принадлежит к женскому роду, я люблю Францию – но не хочу еще ни о чем думать, а если давеча и сказал что-нибудь похожее на обдуманную вещь, то каюсь в этом грехе и буду теперь жить умом дядюшки, потому что другой ум может ему повредить в настоящих обстоятельствах. За здоровье русского гостя, – прибавил Шабань, наливая снова рюмки.

Все выпили, кроме Дюбуа, который, остановив свой взор на Глинском, сказал, указывая на голову: «Г-да русские гости сделали то, что эта рюмка может быть для меня ядом», но потом, как будто стыдясь обоюдности своих слов, он с живостию прибавил: «Нет, г. Глинский, не могу поступать против своего сердца и пить за русского!»

– Вы властны в своих чувствах и я никак не могу требовать от вас отчета, почему вы кого-нибудь любите или ненавидите, – сказал холодно Глинский.

Все встали. Шабань подошел к Дюбуа.

– У вас сегодня такой угрюмый вид, что от него вино делалось кислым в наших рюмках. Что с вами сделалось?

– Я не могу переносить вида русских, они причиною всех несчастий Франции!..

– А! Понимаю!.. Не сердитесь на этого ворчуна, – сказал Шабань, обращаясь к Глинскому, – я предупредил вас о его страсти к Наполеону.

– Это не резон, чтобы ненавидеть русских, точно так же как и все несчастья, нанесенные Наполеоном России, не заставят меня сказать, что он не был великим человеком. Не знаю, поступал ли он как должно, вошедши в Россию, но, конечно, русские сделали свое дело, пришед за ним во Францию. – Глинский сказал это довольно громко, так что Дюбуа слышал его ответ.

Глинскому неприятна была такая встреча для первого раза. Он начал говорить с Шабанем о посторонних предметах; маркиз призвал повара и рассуждал о плане обеда; Дюбуа с каким-то внутренним движением ходил по комнате в задумчивости. Глинский следил взорами этого человека. Ему хотелось найти в нем какую-нибудь странность, какой-нибудь недостаток; мы ищем этого против нашей воли, когда сердиты. В другое время Глинский не замечал бы

Дюбуа, но теперь он нехотя видел, что каждое движение его тела было прилично, и когда он останавливался против какой-нибудь картины, переходил к другой, или отходил снова – во всех его поворотах и приемах была какая-то приятная ловкость. Глинский признавался сам себе, что этот человек ему правился, несмотря на угрюмый характер – и в этом случае он оправдывал его собственными своими чувствованиями: если гений Наполеона заставлял неприятеля удивляться ему, то что же должны были ощущать люди, бывшие под его непосредственным влиянием?

Наконец русский, оживляемый приятною беседою дяди и племянника, развеселился, был любезен и обворожил их обоих. В самом деле, молодой человек заслуживал любовь во всех отношениях. Прекрасный собою, воспитанный со всем вниманием нежно любящего отца, выросший в лучшем обществе столицы русской, он был уже не только 20-летний юноша, но молодой человек, прошедший в кровавой войне два года, где горькая опытность развила в нем все то, чем природа награждает своих любимцев, как в отношении сил телесных, так и душевных.

Старик маркиз вызвался показать ему все достопамятности Парижа, а племянник познакомиться со всеми удовольствиями этого Вавилона. Так они расстались после первого свидания.

Глава III

В то же самое время, когда весь Париж стекался навстречу входящим союзникам к воротам С. Мартен на бульвары Маделень и Итальянский, когда прочие улицы были почти пусты – у других застав происходило позорище другого рода. Жители всех оставленных и разоренных предместий и деревень толпились около застав без всякого пристанища. Старые и молодые люди и животные были вместе, и когда эхо доносило восклицания народные и радость парижан, встречавших войска, до сборища этих несчастных, то здесь слышались одни только вздохи и жалобы; видно было одно бедствие и слезы. С той стороны входили торжествующие – с этой несли раненых в госпитали; их стенания и плач разоренных обличали, как дорого досталось это торжество. Толпы поселян и жителей предместий стояли подле сваленных на мостовую в кучу имуществ; на них сидели плачущие жены их с грудными младенцами; одни наскоро сделали себе кой-какие шалаши из досок или из простынь; другие с целыми семействами помещались на телегах. Лошади, коровы, овцы, домашние птицы, – все были перемешаны и увеличивали хаос суматохи своими разнородными криками. Первый день все эти толпы оставались почти без всякой помощи. Любопытство парижан заставило их оставить дома почти пустыми, но к вечеру, когда жители возвращались с нового для них позорища, многие брали к себе этих несчастных; отовсюду носили им пищу, вино и прикрывали тех, которых недостаток или этот случай подвергал суровости весенней ночи. Многие из жителей отправились за город, помогали носить раненых и прибирать мертвых. Заставы были уже свободны, и сострадательные и любопытные беспрестанно ходили в ворота и из ворот. Наутро стечение, народа увеличилось из других частей города. Парижанам необходимо нужны зрелища – и скопление у застав было невероятное.

Глинский после завтрака должен был отправиться к воротам С. Дени, чтобы выполнить некоторые поручения по службе. Он поехал туда верхом; казак, ординарец его генерала, следовал за ним, и тут они встретили волнующиеся толпы жителей, которые, вопреки обычаю шумных парижских сборищ, безмолвно смотрели на несчастных, разоренных и лишенных имущества. Во всех дверях, во всех окошках видны были слезливые лица; только изредка, ежели носилки или телеги с ранеными заставляли расхлынуться толпу, она отвечала слезами и восклицаниями на стенания страждущих воинов, или с молчанием давала место патрулям соединенных войск, или потом с участием оглядывала партии военнопленных французов, которые были отпущены императором Александром тотчас по вступлении и проходили мимо пестрого сборища с мрачным видом и потупленными глазами.

В этой тесноте Глинскому надобно было посторониться у одного дома, чтобы дать проехать огромной полковой фуру; в то же время носилки с тяжелораненым французским солдатом, следовавшие за фуру, поровнялись с ним. Окровавленная человеческая фигура, покрытая плащом, лежала на них. Страдания были написаны на мертвенном лице, обожженном порохом и обезображенном запекшеюся кровью. Фура, задержанная толпою, остановилась, а за нею и носилки. Раненый не произносил никакого стога, однако боль выражалась качаниями головы направо и налево: «Пить! пить!» – хрипел он слабым голосом.

Молоденькая хорошенькая мещанка, хозяйка дома, стоявшая на ступенях крыльца, против которого остановился Глинский, отерла передником слезы и побежала наверх, чтобы исполнить просьбу воина.

– Далеко ли вам нести, добрые люди? – спросил Глинский.

– Далеко, – отвечал один из них.

– До этого не было бы нужды, что далеко нести, – сказал потихоньку другой, – если б только в больнице было место, а то мы знаем, что многие раненые до сих пор не помещены и лежат на улицах; а ежели этому сегодня не помогут, то, конечно, ему не жить на белом свете.

– Разве он опасно ранен?

Оба носильщика пожали вместо ответа плечами. Хозяйка выбежала с бутылкою вина и стаканом. Глинский попросил у нее позволения напоить солдата.

– Храбрый товарищ, – сказал он, наклонясь к раненому, – позволь напоить тебя русскому, который умеет ценить неустрашимость и в своих неприятелях.

Больной остановил движения головы, открыл глаза и дал знак согласия; хозяйка поддерживала голову, Глинский дал ему выпить несколько глотков; толпа зрителей стеснилась около носилок.

– Я уверен, – сказал Глинский, обратясь к хозяйке, – что прекрасная наружность неразлучна с добрым сердцем; вы тронуты положением несчастливца, не позволите ли ему остаться несколько дней в вашем доме, – я заплачу за постой и присмотр и постараюсь о помощи?

Молодая женщина, потупив глаза, играла концом своего передника.

Зрители восклицали со всех сторон похвалы русскому и уговаривали хозяйку, Глинский вынул кошелек, хотел положить ей на руку, но она, отдернув ее со слезами на глазах, дала знак рукою, чтоб носильщики следовали за нею.

– Bénédiction! Bénédiction! – шумно закричала толпа вслед Глинскому, и это была первая минута, в которую печальная тишина была нарушена. Радостные клики и хлопанье в ладоши долго не переставали.

Раненый был положен в небольшой чистой комнате. Глинский уговорил хозяйку взять деньги, купить и исправить все нужное. Он отправился по своему поручению и менее чем через час возвратился с полковым лекарем, который, перевязав опасные раны, дал надежду, что раненый может остаться еще жив при хорошем присмотре.

Это уверение обрадовало Глинского; весело отправился он домой, где дожидались его Шабань с маркизом, и остаток дня посвящен был любопытству. Шумные происшествия нескольких дней, худо проведенные ночи, и наконец роскошная постель усыпила Глинского в эту ночь богатырским сном. Было уже поздно, когда он проснулся – и открыв глаза, совершенно потерял память прошедшего. Богатство комнат, убранство постели, тонкость белья, чириканье птиц в саду, говор народа на улице казались ему продолжением сновидений, которые сменялись одни другими в его юном воображении. Наконец он собрал рассеянные мысли, припомнил вступление в Париж, маркиза, портрет его дочери, Дюбуа и Шабаня и наконец раненого гренадера, который теперь составлял всю его заботу. Он оделся и поскакал снова к нему.

Печальные сцены вчерашнего дня еще продолжались между разоренными жителями предместий, но число их уменьшилось; многие возвратились уже в свои дома; любопытных было не столько и Глинский беспрепятственно доехал до известного ему дома. Он с нетерпением постучался у дверей. Слова: «Жив ли?» были на губах его, когда вышла хозяйка, но он по веселому лицу ее переменял свой вопрос. «Был ли лекарь сегодня?» – сказал он.

– Был, – отвечала хорошенькая мещанка. – Он говорит, что завтра снимет первые перевязки и с уверенностью ручается за его жизнь. – Говоря это, она провожала Глинского в комнату раненого.

– Может ли он говорить? – спросил Глинский.

– Лекарь говорил с ним несколько слов, однако ж запретил его беспокоить.

Когда Глинский подошел к постели, он увидел, что вчерашнее безобразие от запекшейся крови и пыли исчезло с лица больного; чистое белье, мягкая подушка, теплое одеяло, столик с прибором показывали попечительность присмотра. Глинский, окинув все это взглядом, оборотился к хозяйке и сделал ей знак одобрения. Удовольствие было написано на хорошеньком ее личике.

Раненый, услышав шорох, открыл глаза и устремил их на Глинского. Брови его сдвинулись, как будто он хотел что-нибудь припомнить, и потом медленная улыбка привела в движение страждущее лицо. Он силился вытащить руку из-под одеяла, ему хотелось подать ее

Глинскому, но силы изменили; он закрыл глаза и отворотил голову, чтоб скрыть выступившие слезы.

Этот солдат был человек лет около сорока; наружности довольно красивой; густые бакенбарды и усы оттеняли его правильную физиономию. Бледность лица отнимала несколько суровости выражения, столь свойственному загорелому солдатскому лицу.

Не беспокоя более больного, Глинский уехал; но не проходило дня, чтоб он не побывал бы у него и часто по два раза, ежели позволяло время, и при каждом посещении с удовольствием замечал, как силы раненого прибавлялись. Наконец лекарь позволил ему говорить; первые слова были выражением благодарности, но Глинский лучше хотел говорить о другом: он знал, что нельзя более доставить удовольствия воину, как заставив его рассказывать про свою службу. Помертвевшие губы оживлялись и на бледных щеках являлся отблеск жизни, пока сраженья и слава французских войск были пред его глазами; но когда дело дошло до несчастий, претерпленных великою армиею, глаза потухали, голос изменялся, энтузиазм слабел, картины поражений сменяли одна другую, рассказ сделался отрывист. Наконец, больной не мог продолжать своего похода далее Дрездена, – силы его оставили, когда он дошел до того места рассказа, где упал любимый их полковник, убитый ядром.

В рассказе простых людей есть особенное красноречие, ежели они говорят о том, чему сами были свидетели. Раненый, не могши воздерживать своих чувств, лежал отворотясь к стене. Помолчав немного, солдат продолжал: «Извините меня, г. поручик, что я плачу, как женщина, более 20 лет служу Франции, а в эти годы привык почитать службу матерью, а доброго начальника отцом. Граф де Серваль...»

– Был твой полковник? – прервал с живостию Глинский.

– Так точно, г. поручик.

– Не он ли был адъютантом у Наполеона?

– Он самый – но он время от времени принимал команду нашего полка, где служил с юности, и в Дрезденском деле послан был Наполеоном с колонною, чтобы оттеснить австрийские силы, напиравшие на нас под защитою сильной батареи. Он незадолго перед русскою кампаниею женился здесь на прекрасной девушке. Я видал ее, когда бывал на посылках: она была удивительно хороша, г. поручик, и ежели бог даст мне здоровья – увижу ее опять, чтоб рассказать ей что-нибудь о муже.

– Знаешь ли? – Глинский хотел выговорить, что ее ожидают скоро в Париж, что он живет в доме ее отца, но мысль, что он может рассказать ей, как и кто помог ему, остановила молодого человека. Он столько же боялся огласки своего доброго поступка, сколько другой мог бы опасаться, чтоб не вышло наружу какое-нибудь непохвальное действие. Он прошелся в задумчивости несколько раз по комнате и, остановясь подле больного, взял его за руки и сказал:

– Графиню ожидают в Париж, может быть, я увижу ее. Я скажу, что здесь есть человек, служивший с ее мужем; она, конечно, будет стараться, чтобы сделать все зависящее от нее для твоего успокоения. Как твое имя, храбрый товарищ?

– Матвей Гравелль, гренадер 34 полка. Я рад, что вы спросили мое имя, г. поручик, – теперь я без неучливости могу спросить и ваше, имя моего благодетеля?

Глинский покраснел. Одна и та же мысль наполняла его голову. Сказать свое имя – значило то же, что признаться в преступлении.

– Наши русские имена мудрены для французов, – сказал он, – но если ты хочешь знать, я называюсь *Серебряков*.

– Помогите нам боже, – воскликнули оба, солдат и хозяйка, – и это христианское имя!.. Однако, – продолжал первый, – я выучу его во что бы то ни стало, и буду помнить всю свою жизнь. *M. célèbre coffre, célèbre coffre*²⁸, извините, г. поручик, повторите еще раз ваше имя.

²⁸ Славный сундук, славный сундук (фр. – *Cост.*).

Хозяйка хохотала, радуясь случаю показать свои ровные жемчужные зубы. Сам Глинский смеялся. Он заставлял повторять свою выдуманную фамилию, на конце которой беспрестанно слышалось или Coffre или Сог, ежели выговаривал солдат, или *sœur*²⁹, когда поправляла его хозяйка, и оставил их в заботе – твердить наизусть бог знает какие звуки, которые с каждой попыткой выходили смешнее и страннее. Забота о больном не мешала Глинскому пользоваться любезным вниманием его хозяев, которые хотели доставить ему все способы провести время приятно и полезно. Любезные качества русского офицера обворожили старого маркиза. Он не видел в нем души; Шабань не знал, как угодить новому своему другу, и таким образом протекли семь дней для русского гостя между любопытства и веселости. На осьмое утро Глинский, возвращаясь домой от своего полковника, увидел на дворе несколько дорожных экипажей. Придверник сказал ему, что это приехала старая маркиза с дочерью. Молодой человек затрепетал при последнем имени и торопливо вбежал в свои комнаты. «Кто приехал?» – спросил он своего слугу.

– Старая барыня с дочерью и внучкою, – отвечал тот.

– Разве у нее есть дочь?..

– Как же, сударь, и прекрасная; жаль только, что очень печальна и вся в черном.

– Разве у нее есть дочь, спрашиваю я?..

– Я думал, вы говорите о старой барыне. Есть, сударь, лет 3-х малютка, миленькая девочка! Я принял ее на руки из кареты. Двое слуг повели под руки старую, двое молодую барыню на лестницу.

В эту минуту вошел Шабань: «Приехали наши хозяйки, – сказал он. – Мы их сегодня не увидим с дороги; но завтра будем все вместе обедать, – в ожиданьи я пришел просить тебя о важном деле».

– Что это за важное дело, Шабань?

– Видишь ли, у нас скоро парад для встречи д'Артуа, как наместника, его ждут сюда к 12 числу. Мне надобно быть верхом, и как я желал бы показаться необыкновенным образом, то не хочу ехать на своей лошади, а желал бы купить казацкую. Это необыкновенно, а ты можешь мне в этом помочь. Помоги, Глинский!..

– Но скажи, пожалуй, казацкие лошади с хвостами. Как же ты будешь на ней во фронте?

– Тем лучше, всякий увидит, что это казацкая, а ты знаешь, какое высокое мнение у французов об этих лошадях? Надобно блеснуть, любезный друг, – а чтобы блеснуть, надобно отличиться.

Глинский засмеялся: «Помилуй, Шабань, казацкая лошадь хороша в походе, а не в параде: нашему брату нельзя показаться на твоей лошади».

– Ах, Глинский! Ты не знаешь французов. – Я первый выкину моду, а ты увидишь, что на следующем параде для встречи короля нельзя будет показаться без такой лошади: между тем целый Париж будет говорить обо мне. Каждый порядочный человек заведет непременно казацкую, а если не достанет, то, по крайней мере, будет привязывать хвост к своей лошади, и вообрази, что я сделаю эту революцию. – С Шабанем такой аргумент убедил Глинского. Он отправился с ним к своему полковнику, у которого было несколько казацких лошадей. Глинский объяснил цель посещения и причину желанья Шабаня.

Полковник, смеючись, повел их в свою конюшню. Лошадей вывели. Шабань не мог решиться: он восхищался каждою.

Полковник начал рассказывать, каким образом и откуда ему достались лошади; одна из них была подарена ему Платовым³⁰.

²⁹ сердце (*фр.* – *Cœur*).

³⁰ Платов Матвей Иванович (1751–1818) – атаман донских казаков, генерал от кавалерии, во время отступления французской армии из Москвы нанес ей несколько крупных поражений, за что был возведен в графское достоинство.

Лишь только услышал Шабань имя Платова, он в ту же минуту побежал к лошади и сказал Глинскому: «Объяви, что выбор сделан, спроси, сколько угодно полковнику за эту?»

Лошадь стоила 2000 руб. Шабань не знал что отвечать с радости. Он удивлялся, каким образом можно было подарок Платова отдавать за такую безделку.

Лошадь попробовали. Казак на попонке, с нагайкою в руке, заставил ее повторить все искусство, которому она выучилась в казацкой школе. Шабань был в восторге от приобретения и отправился с покупкою домой. Ему нетерпеливо хотелось поездить самому, но как он не умел сидеть на казацком седле, то надо было пригонять новое по лошади, а потому, покоряясь необходимости, Шабань отложил свои радости до завтра. Оба приятеля отправились по Парижу; Глинский восхищался чудесами его и кончил вечер в театре; у Шабаня было одно в голове: при каждой хорошей сцене, при каждом прыжке ловкой танцовщицы он восклицал одно: «Ах, какая чудная лошадь!..»

Глава IV

На другое утро старый маркиз явился к Глинскому и объявил, что жена с дочерью желают с ним познакомиться: «Теперь вам будет веселее, у нас без женщин в доме и скучно и пусто. Теперь вы увидите наш beau monde³¹, наших красавиц. Я вас прошу только об одной осторожности: муж моей дочери убит под Дрезденом, избегайте случая говорить об этом деле и упоминать даже имя этого города».

Он взял за руку Глинского и пошел с ним наверх. В гостиной комнате сидели две дамы: одна лет пятидесяти, еще приятной наружности женщина, другая молодая в черном платье, и когда маркиз представил его, он ловко сказал приветствие матери, извинялся, что военные обстоятельства привели его к необходимости беспокоить их постоем, и уверял, что постарается своим поведением разуверить их в предубеждения, которое вообще все французы имели против русских. Молодой человек обратился к дочери, и когда она подняла на него свои большие глаза, взгляд которых из-под длинных шелковых ресниц, казалось, проникал в самую глубину души, когда он увидел себя перед подлинником портрета, по которому он так хотел узнать ее, краска вступила ему в лицо. Это не могло придать ему ловкости, – однако мужчина, который теряет от глаз прекрасной женщины, не теряет ничего в этих глазах, и потому молодая графиня приветливо выслушала его немногие слова, легкий румянец также пробежал по ее милому лицу – и первое и самое трудное в знакомстве было сделано.

Старый маркиз своею веселостью скоро поставил Глинского и свое семейство на такую ногу, что с первого свидания, при котором обыкновенно соблюдается весь этикет, взаимная откровенность установилась. Приветливость маркизы, непринужденное обращение графини, образованность и хороший тон юноши, любопытство с одной стороны, ясный и приятный рассказ с другой, скоро положили основанием доверенности и оправдали похвалы маркиза, которыми он превозносил своего молодого друга. Чтобы ознакомить Глинского со всем семейством, принесли маленькую дочку графини. Это была прелестная двухлетняя девочка, совершенно похожая на свою мать, «Saluez m. Glinisky, Gabrielle»³², – сказала бабушка, и милое дитя без застенчивости протянула обе ручонки к гостю, который, услышав ее имя, с ласкою взял ее на руки. «Vive Henri IV et la charmante Gabrielle»³³, – сказал он, приподнимая малютку.

Живой Глинский сказал это без размышления, слава Генриха IV³⁴ неразлучна была в его памяти со славою Габриели, равно как имя сей последней почти всегда приходило в голову с именем Генриха. Графиня покраснела, опустила глаза. Для матери казалось неприятным такое сочетание имен, но маркиз и маркиза имели другие понятия: что для новейшего поколения французов начало казаться предосудительным во всяком человеке, то для снисходительного нрава людей старого века, и по привязанности их к великому государю, не только извинялось в короле, но даже считалось славою в его любовнице.

Маркиз не заметил ни краски графини, ни смущения Глинского, который в ту же минуту почувствовал неловкость своих слов и повинным взором просил извинения у графини. «Прекрасно! – воскликнул маркиз, – нельзя приличнее сказать в нашем положении и в отношении к целой Франции, и в отношении к нашему семейству».

– Стало быть, вы знаете, кто была charmante Gabrielle, – спросила маркиза, удивляясь.

³¹ высший свет (фр. – *Cosm.*).

³² Поздоровайся с г. Глинским, Габриель (фр. – *Cosm.*).

³³ Да здравствует Генрих IV и прекрасная Габриель (фр. – *Cosm.*).

³⁴ Генрих IV – король Франции в 1589–1610 годах, Габриэль д'Эстре – его любовница.

Глинский, одобренный взором графини, в котором не осталось даже следа неудовольствия, усмехнулся. «Сударыня, – отвечал он, – в самом детстве моем, когда учился еще лепетать по-французски, я знал наизусть половину Генриады³⁵. После история великой нации сделалась мне столь же известна, как и моего отечества».

Любопытство есть сильная пружина, действующая на женское воображение. Маркиза, со всею словоохотливостью старой француженки, ожидавшая увидеть русского как редкость, на которую надо смотреть издали, обманутая совершенно в своих ожиданиях, не переставала спрашивать и не знала меры удивлению. Любопытство ее было пробуждено; оно служило ей, так сказать, микроскопом, в котором видела все неожиданные качества молодого человека в увеличенном виде.

Графиня, с своей стороны довольствовалась, слушая расспросы матери и сопровождая улыбкой каждый умный или острый ответ Глинского. Она мало принимала участия в разговоре. Небольшой оттенок задумчивости был виден на ее прекрасном лице.

Вскоре начали съезжаться гости к обеду, который давал маркиз для приезда своего семейства. Он рекомендовал всем своего юного постояльца.

Энтузиазм, внушаемый императором Александром, необыкновенные события и желания узнать ближе варваров Севера, бывших причиною сих событий, все это доходило до неистовства между французами. Они не могли опомниться от удивления, глядя на русских, которых представляли боролатыми чудовищами и видя их людьми, которые были столь же учтивыми и вежливыми, как и они, часто красивее и молодцеватее их щеголей и большею частию образованнее, нежели сии последние.

Толпа в зале волновалась, все добивались поговорить с прекрасным варваром, сделать ему какой-нибудь вопрос и когда один оттеснял другого, этот отступал, чтобы толковать по своему полученный ответ; во всех концах залы раздавалось: «Как он красив! Какие волосы!» и проч. Одним словом, он был чудом, диковинкою этого дня.

Посреди всех восклицаний явился Шабань с сияющим лицом. Раскланявшись на все стороны, подошел к тетке и кухне, сказав по комплименту дамам, он объявил о своем приобретении прекрасной казацкой лошади, принадлежавшей Платову; расхвалил ее фигуру, стать, огонь, и прибавив, что велел привести ее на двор, просил всех посмотреть его покупку.

Все мужчины бросились на двор, дамы вышли на балкон, лошадь подвели к крыльцу. Шабань вскочил в седло; все дивились лошади. В самом деле, небольшая, хорошенькая вороная лошадка была очень красива: огнем сверкали глаза, огнем раздувались ноздри и, казалось, огонь же пробегал по всем гибким и проворным членам. Она фыркала, прыдала ушами, скребла копытом и, казалось, ожидала только позволения исчезнуть с седоком из глаз; всего более хвост ее удивлял французов, спускаясь густоширокою трубою до самой земли.

Глинский заметил Шабаню, что лошадь оседлана дутно: английское седло было так подпужено, что Шабань сидел, поджав ноги, с длинными поводьями почти на самом заду лошади. «Это ничего», – отвечал с уверенностью Шабань, и когда маленькая Габриель на руках у няньки, сбегавшей также вниз полюбоваться лошадию, протянула к нему ручонки, Шабань не задумался, взял ее к себе и хотел пуститься с нею кругом двора. «Воля твоя, – сказал Глинский, – я не дам малютки. Я вижу, что седло сейчас свернется; позволь человеку переседлать, а без того не советую ездить на этой горячей скотине».

С сими словами он взял заплакавшую Габриель, а Шабань со смехом и уверениями попросил толпу раздаться, дал шпоры и пустился вокруг большого двора.

Несколько прыжков было сделано с отменным успехом, но худо помещенное седло сейчас съехало еще более назад, и когда щекотливая лошадь брыкнула раза два, оно повернулось при первом повороте, и Шабань полетел кверху ногами. Все дамы вскрикнули, между мужчи-

³⁵ «Генриада» – поэма Вольтера (1694–1778), посвященная Генриху IV.

нами начался хохот. Глинский прибежал к Шабаню, поднял его и с заботливостью спрашивал: не ушибся ли? Но Шабань смеялся своему приключению. Между тем поймали лошадь; слуга Глинского оседлал ее как надобно и подвел опять к крыльцу; «это бешеная лошадь», – кричали со всех сторон, «на нее нельзя садиться; она не выезжена; это дикая лошадь», сказал Шабань, потирая ушибленную ногу.

– Нет, Шабань, она не дикая, – отвечал Глинский, – я ездил на ней походом, когда моя была убита, и вы увидите, как она послушна, ежели хорошо оседлана. – Он вскочил на лошадь, взял из рук слуги нагайку и, ударив по обеим бокам, поскакал как молния; лошадь повиновалась каждому желанию всадника, танцевала на задних ногах, поворачивалась на них, перепрыгнула несколько раз чрез стоявшую на дворе бочку и остановилась как вкопанная со всего скаку перед крыльцом.

Обед был готов, толпа потянулась вверх, одобрение Глинскому и насмешки Шабаню слышались во дворе, на лестнице и во всех этажах. Это, однако же, не помешало ему отвечать остротами, смеяться самому, сесть снова на лошадь и скакать как бешеному, в отмщение за первую неудачу.

Когда Глинский вошел в залу, он увидел, что испуганная графиня де Серваль держала на руках свою малютку, осыпала ее поцелуями и повторяла слова: «Шабань, Шабань, что ты хотел сделать с моею Габриелью, что ты хотел сделать? Ты бы убил ее, ты убил бы меня!» Она так была напугана воображаемым несчастьем дочери, что прижимала ее к груди и не хотела отдать, как будто опасаясь, чтоб Шабань не поскакал опять с нею. Наконец, все успокоились... Маркиз пригласил к столу, повели дам, Глинский подал руку графине. «Г. Глинский, – сказала она вполголоса, – я не могу изъяснить всей благодарности за вашу предусмотрительность. Когда я увидела, что Шабань упал, то так испугалась, как будто Габриель в эту минуту сидела у него, вообразив, что это могло случиться в самом деле, и что, конечно бы, случилось, ежели бы не вы...»

– Это бы сделал всякий, графиня!..

– Да! а никто не сделал!..

Глинский сел между графиней и девушкою Клодиной де Фонсек, двоюродною сестрою покойного графа де Серваль, привлекательною 16-летней брюнеткою, с огненными черными глазами и греческим носиком. Эта живая и резвая парижанка осыпала Глинского шутками и вопросами. Эмилия говорила мало и спрашивала только изредка, ежели ветреная кузина пропускала какие-нибудь подробности о земле и обычаях русских, о чем наиболее они любопытствовали. Глинский не уступал наступчивой де Фонсек ни шагу, веселость и острота с обеих сторон часто развлекали важнейшие разговоры других собеседников. Молодость живет настоящею минутою, ей мало надобности до того, что ее окружает, и политические споры других гостей чужды были для слуха Глинского и вертлявой де Фонсек. Все, что ловкость молодого человека могла высказать, и занимательная игривость милой девушки вызвать, – все было переговорено; малютка де Фонсек краснела от удовольствия, когда Глинский повторял ей что-нибудь лестное. Она была совершенно довольна своим соседом, тогда как он, при всем желании сказать что-нибудь приятное и графине Эмилии, противу воли чувствовал, что не может быть так любезен с нею, как с ее кузиною; какое-то почтение, какой-то страх связывали язык, хотя ни разговор, ни выражение, ни даже лицо графини не показывали никакой строгости или суровости, обыкновенно отдаляющих от себя откровенность и веселость. Ему казалось, что это его чувство проистекало от ее положения, он думал, что уважает ее горесть и вместо разговора с нею смелее засматривался на ее прекрасный профиль; но и тут неугомонная де Фонсек не давала ему покоя, не оставляла пяти секунд свободы, чтобы следовать влечению своего сердца.

Наконец разговор сделался общим; маркиза спросила Глинского об обращении и о тоне в обществах петербургских.

– Тон лучшего общества точно как и здесь, в Париже: чем оно образованнее, тем проще, вежливее и любезнее, – сказал он с уклонкою головы, – напротив того, чем круг сословия ниже, тем больше церемоний, в соблюдении которых полагается учтивость, тем больше разговор становится затруднителен. Думаю, что это и здесь так же, хотя я еще не имел случая испытать этого. Что же касается до хорошего обращения с друзьями, то везде равно: оно везде зависит от характера и степени образованности. – Говоря последние слова, он обратился к Шабаню, как будто ожидая подтверждения сказанного. Шабань послал ему поцелуй рукою.

Французы, как народ живой, присваивают себе право говорить вслух мысли, внушаемые им первыми впечатлениями и потому немудрено, что до ушей Глинского доходили похвалы и рассуждения о его особе. «Как он вежлив», – говорил один, «он отвечал как надобно», – повторял другой. «C'est étonant! – восклицал третий, – ces Russes sont a peu près comme nous autres»³⁶. «Эти русские так же хороши, как наши поляки», – говорили дамы и вслед за тем сыпались новые вопросы.

– Скажите, г. Глинский, – спросила бойкая де Фонсек, – каким образом вы, русские, здравуетесь со знакомыми вам дамами?

– Если вы непременно хотите это узнать, виконтесса, то позвольте мне с вами поздороваться по-русски?

Де Фонсек остановила на Глинском свои большие глаза с недоумением.

«Согласитесь, mademoiselle! доставьте всем это удовольствие», – кричали со всех сторон мужчины и женщины. Она, затуманившись, опустила глаза.

– Я не знаю, как отвечают русские дамы...

– Я скажу вам, но с условием, чтобы вы так отвечали?

Малютка не знала, что говорить. Глинский сжалился и рассказал, каким образом мужчина, подходя к женщине, целует руку, и что она отвечает поцелуем в щеку.

Все дамы общим судом приговорили, что де Фонсек должна после обеда поздороваться с Глинским, что всем им любопытно видеть опыт этого и, как она вызвалась сама, то обязана доставить всем это удовольствие; Глинский должен был отвечать на многие вопросы: как веселятся в России, есть ли какая-нибудь зелень около Петербурга, есть ли у русских воскресенья и тому подобное; когда же маркиз рассказал анекдот de charmante Gabrielle, то ему надо было выдержать целый экзамен во французской литературе.

Когда кончился обед, де Фонсек должна была выполнить требование всего общества, и потом едва не со слезами спряталась за свою кухню.

После этого общество разошлось по разным комнатам, многие вышли на балкон. Мы сказали уже, что дом маркиза был в улице Бурбон, и что задняя его сторона была обращена к реке, балконы были с обеих сторон; с этого видна была Сена, все ее мосты, Тюльери, а чрез сад в промежутке высоких деревьев открывалась колонна Наполеонова на Вандомской площади. В дальности на вечернем небе этот монумент слабо рисовался синеватым светом. Статуя Наполеона на этой высоте казалась удивленным взорам наклоненною, от ее головы виднелось множество протянутых в одну сторону веревок, казавшихся нитями, которые волновались, напрягались и ослабевали беспрестанно. По всем улицам народ бежал и теснился в одном направлении, к площади Вандом.

Эмилия, которая не была около двух недель в Париже, удивилась при взгляде на это явление. «Что это значит, – спрашивала она околостоящих, – не обманывают ли меня глаза, мне кажется, что статуя Наполеона валится, что такое делают этими веревками?»

Ей объяснили, что временное правительство, уступая желаниям народа, решилось снять статую и теперь надлежащим порядком приступило к этому действию.

³⁶ Это удивительно! эти русские почти такие же, как мы (фр. – *C'est.*).

– Но скажите, ради бога, – спросил Глинский, – не это ли же правительство поставило караул подле колонны, и не оно ли в своем декрете, вследствие покушений на эту колонну и другие императорские памятники, запретило даже всякое обидное выражение насчет прошедшего правительства, потому что, говорило оно, дело всего отечества слишком возвышенно, чтобы действовать теми средствами, которые дозволяла себе чернь.

– Да, это совершенно справедливо, – сказал один из гостей, – но несколько дней тому назад император Александр, ехавший мимо колонны, изволил сказать, что у него закружилась бы голова на такой высоте, а потому, может быть, сочли нужным и согласно с желанием народа.

Слезы навернулись на глазах Эмилии. Глинский не мог вынести, он выбежал в залу и с жаром сказал: «Французы не знают сами, что делают. Это неблагодарно, это неблагородно, это несправедливо, так-то они платят великому человеку». С этими словами он хотел бежать к себе, но Дюбуа, не говоривший вовсе это время ни слова, остановил его, схватил с чувством у него руку. «Вы примиряете меня с русскими!» – сказал он... И когда Глинский сошел вниз в свои комнаты, Дюбуа явился за ним следом.

– Я пришел у вас просить извинения, – сказал он удивленному сим посещением Глинскому, – за первую нашу встречу, где я позволил рассудку увлечься сердцем. Вы примирили меня с русскими. Несчастья отечества дали мрачное направление моему характеру; я ищу везде оправдания Наполеону, и потому обвиняю целый свет; но, со всем тем, это не мешает мне видеть своей несправедливости, и если я не имею никаких особенных добродетелей, ни качеств, то могу похвалиться одним достоинством: признаваться в своих ошибках и не стыдиться извинения, может быть, для этого надобно иметь также характер, и если я его имею, то тем обязан сорокалетнему наблюдению за самим собою.

Глинский с жаром подал ему руку. Странное объяснение расположило его в пользу этого человека. «Я тем более вас уважаю, – сказал он, – сколько я ни мало опытен, однако, успел заметить, что недостаток самосознания бывает причиною большей половины несчастий человечества», – и они расстались, довольные друг другом.

Сверх родства, связывавшего со времени замужества Эмилии маленькую де Фонсек с домом маркиза, она с самого младенчества была там как родная, и графиня не знала в ней души; можно сказать, что она воспитала ее; старая бабушка, у которой жила де Фонсек, не могла по старости заняться ее образованием, а если Клодина не совсем жила в доме маркиза, то потому только, что бабушка не решалась вовсе расстаться с нею. Клодина любила графиню как мать, как сестру, как друга, сколько разность лет в последнем случае позволяла ей пользоваться дружбою графини. Все ее малейшие помышления передавала она с детскою откровенностью Эмилии, будучи уверена, что каждое желание, даже каждая прихоть ее будет исполнена. Графиня, можно сказать, баловала ее, радовалась доверенности своей воспитанницы и не могла отказывать в ее невинных прихотях.

Вечеру Эмилия была в своем кабинете; де Фонсек с нею, обе сидели на большом турецком диване и молчали. Видно было, что каждая из них занята своими мыслями. Клодина несколько раз подымала свою греческую головку и смотрела на графиню, но видя, что та в задумчивости не обращала на нее внимания, со вздохом опускала пылающую щеку на руку и продолжала молчать. Наконец, ей надоело это положение, – она взяла за руку Эмилию и сказала: «Ты очень печальна сегодня, *ma cousine*». – «Друг мой! ты знаешь мое положение: могу ли быть веселою, потеряв мужа, которого так любила; сверх того сердце мое невольно участвует в политических обстоятельствах моего отечества. Муж мой был участником славы Франции – и русские в Париже, мы побеждены – и французы радуются своему унижению! Наполеон возвысил Францию из праха, создал ее величие из хаоса, и что делают неблагодарные парижане, когда он в несчастии! Ты еще не постигаешь этих чувств, Клодина, ты во всем видишь только забаву и развлечение».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.